

## Птица Сириин на латвийском клене

Борис Инфантьев

В книге «Воспоминания о Михаиле Пришвине», изданной в 1991 году, близкие писателю люди рассказывают о великом множестве больших и малых городов, о бесчисленных весях, где судьба дарила им встречи с чудодеем русского слова. Никто из воспоминателей латвийский город на Даугаве даже не упоминает. Между тем рижанином Пришвин был. В Лифляндии он пережил духовно-подъемные и горестные дни. Но как все складывалось? Какими были подробности, детали далеких тех дней?

Мы перелистываем архивные папки с документами о рижских месяцах Михаила Пришвина.

Секретное сообщение начальника Лифляндского жандармского управления полковника Прозоровского от 8 октября 1897 года на имя директора Рижского политехнического института Теодора Гренберга: «Имею честь сообщить Вашему превосходительству, что студент вверенного вам института Михаил Михайлов Пришвин привлечен (..) к дознанию в качестве обвиняемого в государственном преступлении и содержится под стражею в Лифляндской губернской тюрьме». На старом, протертом на сгибах листе — резолюция директора: «Отметить в черной книге».

27 октября того же года в ответе на запрос института о подследственном М. Пришвине главный лифляндский жандарм сообщал: «Последний все еще находится в заключении». Директор института в полном соответствии с инструкцией «Об исключении тех студентов, которые обвиняются в политических и антигосударственных поступках», распорядился

переслать документы арестованного в тайную полицию.

В другом фонде — прошение Михаила Пришвина, помеченное 1 июля 1898 года, в котором опальный студент профессору Т. Гринбергу высказывает робкую надежду: «Разрешите мне обратиться к вам за советом, так как я оказался в очень неопределенном и вместе с тем неприятном положении. Есть ли какая-нибудь возможность вновь поступить в Политехнический институт? Если теперь нет, то, может быть, по окончании надзора?» Из материалов явствует: директор просил разъяснений в Петербургском департаменте полиции. Тут же последовал недвусмысленный ответ: «принятие Пришвина в число студентов названного учебного заведения (..) представляется нежелательным». И вот 4 января 1899 года М. Пришвин получает уведомление: «Ваше ходатайство о восстановлении в число студентов не может быть удовлетворено». О ходе следствия читаем в «Кащеевой цепи»: «Михаила Алпатова арестовали в самом начале следствия. Автора книги допросили. Обещали свободу при условии, что он сознается, угрожали... Он выбрал самый трудный путь — все категорически отрицал. Убедившись, что от него ничего нельзя добиться, царские судьи отправили его в образцовую тюрьму». Так писатель иронически называет арестантский дом в Елгаве. Там, в одиночной камере, он провел около года. В главе «Государственный преступник» нарисованы мрачные, удручающие картины тюремного быта.

Стараниями краеведов Н. Иешина и Л. Флаума, архивиста В. Павловой, литературо-

ведов И. Мотяшова, М. Николаева, С. Игнатовича старые документы заговорили. Все началось с пухлой бандероли, ненароком обнаруженной на Рижском почтамте. Выяснилось: это далеко не первая посылка из Петербурга с запрещенной литературой. Подозрение пало на студентов-политехников. В библиотечных шкафах и аудиториях чего только жандармы не нашли! Неразрешенные публикации шестидесяти семи названий. На обложках — имена Клары Цеткин, Георгия Плеханова, Эдуарда Берштейна. Двенадцать номеров «Русского рабочего». Вырезки из легальной и подпольной печати. Таковых оказалось сорок две. Тридцать тетрадей с переводами из Фридриха Энгельса, Августа Бебеля, Фрица Меринга, Карла Каутского. Началось следствие. Товарищ прокурора Трусевич отличался полицейской сметкой. По его предложению следователи извлекли из личных дел студентов прошения о зачислении в институт и сопоставили с почерками в найденных тетрадях. Причастность Пришвина была установлена в самом начале разбирательства, и тут же его арестовали. Графологический анализ рукописей других задержанных студентов продолжался, будущему автору «Кашеевой цепи» долго пришлось ждать судебного процесса. Возникают вопросы. Какие пути-дороги привели Пришвина в лифляндскую столицу? Почему вместо студенческой аудитории он оказался за решеткой? Повлияло ли на формирование Пришвина, писателя и гражданина, заключение? И кто приобщил его к недозволенной литературе?

Со времен Николая Языкова, Афанасия Фета учиться в средней и высшей школе Остзейского края считалось весьма престижным. Нигде, к примеру, — ни в Москве, ни в Киеве, ни в Петербурге — невозможно было так свободно заговорить по-немецки, как в аудиториях Дерптского университета или Рижского политехнического. Как бы то ни было, с 1893 года Пришвин — рижский студент. Он полон надежд и намерений отдать себя науке. Стать агрономом. Словом и делом помогать землепашцу. Но не тут-то было. С первых же дней на Пришвина обратил внимание руководитель студенческого кружка Василий Горбачев. Отрешенный от земных забот — идеалист, знаток трудов Н. Чернышевского, Г. Плеханова, немецких социал-демократов, он привнес в марксизм немало своего, личного. Когда восстание Пятого года захлебнулось, он впал в отчаяние и поднес к виску пистолет... В предсмертном письме В. Горбачев признавался: «Организация для меня была всем — матерью, женой, братом, другом. Я поставил на одну карту все — она бита... Надо уходить». Такой

неординарный, замороженный идеей человек дал М. Пришвину первые уроки общественной борьбы.

Поначалу Пришвин пытался отстоять свою независимость и ограничиться изучением трудов Дмитрия Менделеева, Александра Бутлерова, европейски знаменитого профессора Вильгельма Оствальда. Но все приняло иной оборот.

— Стремления ваши и ожидания, — в сердцах заметил однажды В. Горбачев, — это розовые мечты молодого российского интеллигента. Кончите вы тем, чем все кончают: получите диплом Рижского политехнического института, и вас тут же купят.

— Как купят? Что вы говорите? И кто меня купит? — запальчиво возразил Пришвин.

— Они и купят. Власти предрежащие. И пойдете к ним на услужение.

Слова сотоварища по движению запали в память, и студент-первокурсник принялся за Адама Смита и «Капитал», Иммануила Канта и Георга-Вильгельма Гегеля. Через несколько месяцев Пришвин на равных спорил с оппонентами социал-демократов, обрушивался на Дюринга и Бернштейна, полагал неизбежной «мировую катастрофу». Он не принимал народническую теорию жертвенности, доказывал необходимость долготерпения, но социальную роль революционеров уподоблял неторопливым «акушерам», принимающим «роды новой жизни». Пришвинские социальные, философские установки отличались еще большим своеобразием, чем общественные взгляды В. Горбачева. Известные положения «Капитала» молодой Пришвин, по выражению И. Мотяшова полагал «в переложении на язык сердца».

Об отношениях с организаторами рижских социал-демократических кружков, агитации среди рабочих завода Рихарда Поле, беседах с окрестными крестьянами, об аресте, месяцах в неволе и освобождении Пришвин рассказал в одной из лучших своих книг — «Кашеева цепь».

Писатель остается верен себе. Никогда не изменяет своему солнечному, незамутненному, родниковой чистоты слову, сказочному ладу и складу. Даже о высокоученном споре Энгельса с Дюрингом автор умеет рассказать на диво поэтично (глава «Цвет и крест»). В абстрактную полемику о «скачке в неизвестное» — эпизоде откровенно идеологического наполнения — вовлечена природа: луга и травы, «красноглиняные» овраги, воды в весеннем разливе, бескрайние поля, «заволоченные» фиолетовой дымкой.

Конспиративные будни не в состоянии разрушить мечты, сны, грезы героя повествования Миши Алпатова. В его воображении возникают усеянные цветами сладко пахнущие дуга. И «вьется по ним тропинка». И ведет она в мир согласия и любви. И «страдающий Бог» выпрашивает себе у старшего Бога кусочек маленького человеческого счастья: «Да минует меня чаша сия». Повествователь в «Кашеевой цепи» повторяет дела и дни самого писателя. На подступах к Риге повстречался ему крестьянский обоз. И опять выразительная пришвинская живопись, озорная игра словом. «Вот мелькнул парень, такой глазастый, такой до неприятности открытый, будто не парень сидит, а гусь, на гуся льют воду, и ему все как с гуся вода». За парнем поскрипывают подводы Лапеня и Сколона. Алпатов, не теряя ни минуты, вступает с ними в разговор, толкует о прибавочной стоимости. Такого пришвинский просветитель не ожидал: мужики с первого слова все понимают, правда, «прибавочную стоимость» тут же переименовывают в близкий им «акциз»...

...Арест. Тюремный врач и жандармский ротмистр для личного дела составляют словесный портрет задержанного. Все шло привычно, отлажено, гладко. Но вот понадобилось дать рисунок подбородка заключенного. Полицейские чины заспорили: необычно круглый он или обыкновенный? Ротмистр ссылается на Гоголя: у Чичикова подбородок круглый. Врач дает свою версию портрета Чичикова. Гоголевский персонаж, по его словам, и «духовно круглый тип». Потому-то все у него круглое — и голова, и плечи, и живот, и подбородок.

Как видим, Пришвин посмеивается над тогдашним своим начальством, полицейским толкованием литературы.

Более года герой повествования томится в одиночках Рижской и Митавской тюрем. Ему не разрешают открывать форточку, днем лежать на койке, не велят писать, читать дозволяют только благопристойные книги из тюремной библиотеки. И никаких надежд на вызволение. Чем же заняться в неволе? При-

нимается решение: отправиться в воображаемое путешествие на Северный полюс. В часы и дни нескончаемого странствия вершится анализ прожитого, думается о том, какой бы оказалась привычной благополучная жизнь теперь...

Страхи и потрясения арестованные знавали ничуть не меньше тех, кто покорял полюса. «Раз был крик на всю тюрьму, и слышно даже было падение тела, и вслед за этим как стрельба из пушек: так били скамейками все политические в двери своих одиночек».

Но ведал дальний путник и радости. Из-за ржавой решетки он видел дуб, тронутый золотыми красками осени, сияющий всеми своими окнами домик в соседней слободе.

И вот настал счастливый час. Свобода! Алпатов готов забыть все обиды, простить всех обидчиков. Начальник тюрьмы больше не кажется ему надменным и грубым, но ревностным исполнителем инструкций. Жандармский ротмистр с прокуренными усами, оказывается, совсем не безнадежно плох. С любезной готовностью выписывает он документы на волю. Теперь пришвинскому герою хочется освободить всех — и прокурора Трусевича, и начальника тюрьмы, и жандармского ротмистра, и надзирателя Кузьмича, и всех томящихся в застенках. Освободить от людей, стоящих на высших ступенях общественной лестницы, от непомерного груза кашеевой цепи. Вырваться из нее ни одному из них до сих пор не удавалось.

Так недвусмысленно, определенно заявляет о себе доброе пришвинское человеколюбие.

...На Введенском кладбище в Москве памятник над последним приютом Михаила Пришвина венчает «птица Сири́н». Надгробие это высек великий Сергей Коненков. По его мысли, птица Сири́н, как это всегда бывало в славянских легендах, вечно будет петь о красоте и мудрости, о радостях людских и счастье, о не знающей конца земной жизни. И всегда будет напоминать друзьям Пришвина о главной сути художника и человека.